

Н.А. ДОБРОЛЮБОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕВЯТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

**Б. И. БУРЦОВА, А. И. ГРУЗДЕВА,
В. В. ЖДАНОВА, С. А. РЕПСЕРА,
Ю. С. СОРОКИНА**

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

Москва · 1962 · Ленинград

Н.А. ДОБРОЛЮБОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

СТАТЬИ И РЕЦЕНЗИИ

АВГУСТ 1857—МАЙ 1858

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

Москва · 1962 · Ленинград

любви и наслаждения страсти животной (как переводит г. Бенедиктов слово Wollust) умилительно воспевать велением самой природы указано...» Следовать же природе — первое условие художественного достоинства в поэзии. Стих же г. Мея весьма хорошо выработан и служит для него послушным орудием, когда в поэте говорит истинное чувство.

СОЧИНЕНИЯ ПУШКИНА

Седьмой, дополнительный том. Издание П. В. Анненкова
СПб., 1857

Все еще помнят, вероятно, какой живой восторг возбудило три года тому назад во всей читающей публике известие о новом издании Пушкина, под редакциею г. Анненкова.¹ После вялости и мелкоты, которою отличалась наша литература за семь или за восемь лет пред тем, это издание действительно было событием не только литературным, но и общественным. Русские, любившие Пушкина, как честь своей родины, как одного из вождей ее просвещения, давно уже пламенно желали нового издания его сочинений, достойного его памяти, и встретили предприятие г. Анненкова с восхищением и благодарностью. И в самом деле, память Пушкина как будто еще раз повеяла жизнью и свежестью на нашу литературу, точно окропила нас живой водой и привела в движение наши, окостеневавшие от бездействия, члены. Вслед за Пушкиным вышло второе издание «Мертвых душ», потом второй том их, затем полное издание Гоголя, потом издание Кольцова с биографией его, написаною Белинским... Впрочем, нечего и перечислять столь недавние и общеизвестные факты; довольно сказать, что со времени издания Пушкина, первые томы которого вышли в начале 1855 года, наша литература оживилась весьма заметно, несмотря на громы войны, несмотря на тяжелые события, сопряженные с войною. Последствия показали, впрочем, что эти самые бедствия имели весьма полезное значение для нашего умственного совершенствования: они заставили нас и дали нам возможность получше рассмотреть самих себя, пооткровеннее сообщить друг другу свои замечания, побольше обратить внимания на свои недостатки. Литература тотчас же явилась у нас выразительницею общественного движения, и ее деятели одушевились сознанием важности своего долга, любовью к делу, горячим желанием добра и правды. Это одушевление, при новом поло-

жении литературы, скоро выразилось решительно во всем, даже в библиографии, бывшей у нас долгое время бесплодным занятием празднлюбцев, для развлечения их скуки. В прежнее время библиографы наши подбирали факты ничтожные, вели споры об обстоятельствах пустых, занимались часто решением вопросов, ни к чему не ведущих. Мы помним за последние десять лет множество статей, написанных даже людьми дельными и почтенными, но пускавшимися в такие ненужные мелочи и делавшими при этом такие наивные ошибки, что со стороны становилось наконец досадно, хотя и забавно, смотреть на трудолюбивых библиографов. И замечательно, что целыми годами труда самого копотливого — не добывалось тогда ровно никаких результатов: публику душили ссылками на №№ и страницы журналов, давно отживших свой век, а она часто и не знала даже, о чем идет дело. В последнее время и библиография переменяла свой характер: она обратила свое внимание на явления, важные почему-нибудь в истории литературы, она старается в своих поисках по архивам и библиотекам отыскать что-нибудь действительно интересное и нередко сообщает читателям вещи, доселе бывшие вовсе неизвестными в печати. Так, например, недавно были напечатаны «Сумасшедший дом» Воейкова,² пародия Батюшкова на «Певца во стане русских воинов»³ и пр.; так, представлены были (в «Записках» г. Лонгинова,⁴ в «Сборнике студентов СПб. университета») новые интересные сведения о мартинистах, о Радищеве и Новикове и пр. Ставя это в заслугу библиографам последних лет, мы, разумеется, вовсе не думаем этим унижать лично прежних деятелей. На поприще библиографии и ныне подвизаются большею частью те же лица, что и прежде, и, следовательно, за нынешние полезные труды упрекать их в прежних бесполезных было бы с нашей стороны совершенно несправедливо. Мы очень хорошо понимаем, что удача или неудача библиографа в сообщении читателям интересных сведений весьма часто не зависит от его воли. Он всегда рад бы печатать все хорошее, но что же делать, если не имеет средств к этому? Личности литературных деятелей обвинять за это нельзя, — и мы хотим обратить внимание читателей на вопрос именно с той точки зрения, что в последнее время наша библиография значительно расширилась в своих пределах и средствах.⁵

Вышедший ныне седьмой том Пушкина служит одним из самых ярких доказательств этого расширения средств нашей библиографии, особенно в отношении к возможности и легкости сообщать публике свои находки. Правда, что в этом последнем отношении она еще и теперь далеко не совершенна, даже недо-

влетворительна; но все же какое сравнение с тем, что было прежде, и незадолго прежде! Мы помним, как лет пять тому назад двое ученых — старый и молодой — ожесточенно ратовали друг против друга за то, как нужно произнести один стих Пушкина: на четыре *сторонь* или *стóроны*; ⁶ помним, как двое молодых ученых глумились друг над другом из-за одного вздорного стихотворения с подписью «Д—г», не зная, кому приписать его — Дельвигу или Дальбергу.⁷ Да мало ли что можно вспомнить из этого времени в том же безвредном роде, как будто вызванном отчаянием скуки. И ничего не вышло из этих споров, исследований и открытий: г. Анненков взял просто рукописи Пушкина, да с них и печатал большую часть его стихотворений; библиографические справки также наведены им, кажется, почти совершенно независимо от указаний прежних библиографов. Говорим это потому, что большая часть стихотворений и отрывков, помещенных в VII томе, или является ныне в первый раз в печати, или указана не ранее прошлого года, в «Библиографических заметках» г. Лонгинова.⁸ Так, им указаны были пьесы: «На лире скромной, благородной», «Когда среди оргий жизни шумной», «И некий дух повеял невидимо» (отрывок), несколько строф из «Евгения Онегина» и других стихотворений, несколько эпиграмм и пр. Об этих произведениях мы не станем говорить, потому что читатели «Современника», вероятно, помнят их содержание или по крайней мере характер. Из стихотворений, напечатанных ныне в первый раз, замечательны особенно два, относящиеся к последнему времени жизни Пушкина: «Когда за городом задумчив я брожу» и «Когда великое свершалось торжество». Оба они напечатаны были в прошедшей книжке «Современника», и потому о них мы тоже не станем распространяться. Из раннего периода деятельности Пушкина напечатаны два превосходные послания к Аристарху, силою и серьезностью мысли напоминающие послание «Лицинию», а по энергии выражения не уступающие лучшим ямба́м Пушкина позднейшей эпохи. Чтобы яснее обрисовать характер выражения пьесы, приведем из нее то место, где поэт определяет обязанности своего Аристарха (Пушкин, том VII, стр. 32).

О, варвар! кто из нас, владелец русской лиры,
Не проклинал твоей губительной секиры?
Докучным евнухом ты бродишь между муз:
Ни чувства пылкие, ни блеск ума, ни вкус,
Ни слог певца «Пиров», столь чистый, благородный —
Ничто не трогает души твоей холодной!
На все кидаешь ты косою, неверный взгляд,
Подозревая всех — во всем ты видишь яд.
Оставь, пожалуй, труд, нисколько не похвальный;

Парнас — не монастырь и не гарем печальный;
И, право, никогда искусный коновал —
Излишней пылкости Пегаса не лишал.

За этим стихом в издании г. Анненкова перерыв: вероятно, поэт допустил «некоторые намеки на современные лица и события», от которых издатель старался, по его словам, *очищать* пьесы Пушкина.⁹ Не знаем, до какой степени полезно это очищение, потому что не имеем под руками полной пьесы; но думаем, что пьеса несколько не потеряла бы своего художественного значения, если бы была напечатана вполне. Да если бы и так, то все-таки следовало бы выпущенные в пьесе стихи поместить хотя в примечаниях. Впрочем, так как этого не сделано, и, конечно, по уважительным причинам, то мы возвращаемся к тому, что есть. Поэт продолжает свое обращение к Аристарху:

Зачем себя и нас терзаешь без причины?
Скажи, читал ли ты Наказ Екатерины?
Прочти, пойми его, увидишь ясно в нем
Свой долг, свои права; пойдешь иным путем.
В глазах монархини сатирик превосходный
Невежество казнил в комедии народной.
..... 10
Державин, бич вельмож, при звуке грозной лиры,
Их горделивые разоблачал кумиры;
Хемницер истину с улыбкой говорил;
Наперсник «Душеньки» двусмысленно шутил,
Киприду иногда являл без покрывала, —
И никому из них цензура не мешала.
Ты что же хмуришься? Признайся, в наши дни
С тобой не так легко б разделались они.
Ты в этом виноват. Перед тобой зеркало,
Дней Александровых прекрасное начало:
Проведай, что в те дни произвела печать!
На поприще ума нельзя нам отступать...

За этим стихом, заключающим в себе столь высокую и благородную мысль, опять находится у г. Анненкова перерыв, тем более досадный, что тут следовали, вероятно, какие-нибудь подробности, которые могли бы объяснить нам некоторые литературные взгляды Пушкина.¹¹ Но тут издатель опять оставляет нас в недоумении, и за последним приведенным нами стихом следуют стихи, заключающие в себе выражение Аристарха, выказывающее его личность в несколько комическом свете.

Все правда, — скажешь ты, — не стану спорить с вами.
Но можно ль мне, друзья, по совести судить?
Я должен то того, то этого щадить.
Конечно, вам смешно, а я нередко плачу.
Читаю да крещусь, — мараю наудачу.
На все есть мода, вкус. Бывало, например,

У нас в большой чести Бентам, Руссо, Вольтер;
А нынче и Миллот попался в наши сети.
Я бедный человек; к тому ж жена и дети...

Рассерженный этой репликою, поэт заключает ее, с своей стороны, следующими стихами:

Жена и дети, друг, поверь — большое зло;
От них все скверное у нас произошло!

Второе послание к Аристарху, писанное в том же 1827 году, отличается уже тоном гораздо более умеренным.¹² Тут Пушкин уже очень доволен тем, что Аристарх его разрешил заветные доселе эпитеты: *божественный*, *небесный*, в приложении их к красоте, — и приписывает это благотворному влиянию Шишкова, «восприявшего тогда правление наук». Стихи «Сей старец дорог нам» и пр. находятся в этом послании. Мысли обоих посланий интересно сличить, между прочим, с позднейшими «Мыслями о цензуре», чтобы видеть, каким образом Пушкин приобретал все более и более умеренности в суждениях об общественных вопросах.

В VII томе являются также в первый раз довольно полные отрывки из «Моей родословной» (1830); но и здесь она напечатана не вполне, вероятно по тем же соображениям, по которым выкинуты некоторые стихи из посланий к Аристарху.¹³ Но некоторые из выпущенных стихов едва ли могли бы вредить пьесе в каком-нибудь отношении.

Вообще мы не понимаем, отчего до сих пор не печатались многие из стихотворений Пушкина, давно известные в рукописях и не заключающие в себе ничего предосудительного. Их бы тем скорее следовало напечатать, что их ведь уж знают же почти наизусть все почитатели Пушкина. Например, зачем не напечатаны многие литературные эпиграммы? Мы не хотим подозревать издателя в согласии с мнениями «Северной пчелы» и фельетонистов «Русского инвалида», но все-таки не можем не заметить, что в издании напрасно сделана эта уступка мнениям некоторых господ, которые боятся, чтобы не помрачилась память Пушкина от напечатания его эпиграмм. В «Северной пчеле» недавно помещена была благодарность «Инвалиду» за его брань на эпиграммы. К этой благодарности «Пчела» от себя прибавляет сравнение эпиграмм и полемических статей Пушкина с доносом Ломоносова на Миллера (хотя еще неизвестно, кто, в отношениях Булгарина и Пушкина, более приближался к ломоносовскому образу действий) и весьма замысловато замечает, что от обнародования этого доноса гораздо более проиграл в мнении публики Ломоносов, нежели Миллер. Из этого ясно

должно быть выведено заключение, что и от издания полемики Пушкина гораздо больше проиграет он сам, нежели гг. Греч и Булгарин. Так думает «Северная пчела» и осыпает г. Анненкова укоризнами. Спрашивается теперь, к чему же послужила деликатность г. Анненкова, везде выставившего только заглавные буквы имен тех, на кого нападал Пушкин, и даже вместо «Видок Фиглярин»¹⁴ поставившего «В. Ф.»? Совершенно напрасно думал издатель, что гг. Греч и Булгарин сконфузятся от напоминания о том, как честил их Пушкин. Чтобы убедиться в этом, стоило взять одно из изданий, вышедших под редакцией сих двух журналистов во время Пушкина. Не говоря о пошлой брани, расточавшейся там великому поэту, мы нашли бы там, что гг. Булгарин и Греч все умеют растолковать в свою пользу!.. Недаром же г. Булгарин столько лет подвизался на поприще журнальном вместе с Н. И. Гречем; недаром же про него и аллегория была сложена, что он владел некогда мечом обоюдоострым. Нет, совершенно напрасно было церемониться с теми господами, которые сами не церемонились с Пушкиным и Гоголем. Нам могут сказать, что о гг. Грече и Булгарине лучше не говорить, потому что участь их в литературе уже решена... Пусть имя их своею смертью умрет; пусть их писательская деятельность не донесется до потомства, невзирая на то, что ими самими многократно чужая деятельность доносима была до сведения любителей в их разборах, и еще большею частию в искаженном виде...¹⁵ Это все так, и в литературном ничтожестве гг. Булгарина и Греча мы нисколько не сомневаемся. Но ведь объявляют же они сами о себе, — объявляет же, вероятно в трехсотый раз, книгопродавец Лисенков о том, что у него *поступили в продажу или могут быть получаемы* сочинения Ф. В. Булгарина (вышедшие лет двадцать тому назад — о чем, впрочем, объявление благоразумно умалчивает)... Напоминают же они о себе; отчего же и нам не напомнить им кое-чего? В полемику, разумеется, с ними никто уж вступать не будет. Что для них могли бы значить скромные, деликатные намеки и упреки новейшего времени, когда яркие, живые, энергические, убийственно остроумные статьи Феофилакта Косичкина не могли устыдить их. Им сказали, что напрасно они пренебрегают Александром Анфимовичем Орловым, который ничуть не хуже их, а г. Греч возразил на это, что в мизинчике г. Булгарина гораздо больше ума, чем в головах многих рецензентов!.. Зато и досталось же им за этот мизинчик... Жаль только, что «настоящий Выжигин», обещанный Пушкиным в конце статьи о мизинчике, — не появился в свет. Там, вероятно, интересны были бы в литера-

турном отношении многие главы, особенно восьмая и пятнадцатая.¹⁶

Из других полемических статей, напечатанных в VII томе, интересен «Отрывок из литературных летописей», с неподражаемым юмором рассказывающий историю о том, как г. Каченовский «принимал другие (нелитературные) меры» против игривого произвола Полевого, «быв увлечен следствиями неблагонамеренности, прикосновенными к чести службы и к достоинству места, при котором г. Каченовский имел счастье продолжать оную».¹⁷ История была, в самом деле, забавна, и положение почтенного профессора крайне незавидно: Пушкин скромно и спокойно, но совершенно ясно успел изобразить действия Михаила Трофимовича так, что для публики не могло оставаться насчет их ни малейшего сомнения, особенно при помощи ядовитой эпиграммы «Обиженный журналами жестоко»,¹⁸ которая появилась в то же время.

Из статей исторических в VII том вошли две записки Пушкина, составленные им только как материал для обработки: «Материалы для первой главы истории Петра Великого» и «О камчатских делах». Обе они впервые являются теперь в печати. Точно так же впервые напечатана статья Пушкина о Радищеве, совершенно конченная и отделанная.¹⁹ Относительно этой статьи мы не можем согласиться с мнением издателя, что она принадлежит к тому зрелому, здоровому и пронизательному критическому такту, который отличал суждения Пушкина о людях незадолго до его кончины. — В этой статье мы видим взгляд весьма поверхностный и пристрастный. Пушкин увлекся здесь мыслью единственно о прямотушии, необходимом в авторском деле, и понял все дело односторонне. Он никак не хотел отделить *преступления печати*, совершенного Радищевым в молодости, от всей его последующей жизни. Стараясь видеть в Радищеве полу-невежду и полу-негодая, Пушкин нередко впадает даже в противоречия с самим собою.²⁰ В конце статьи он говорит о нем с резкостью, какую редко позволял себе: «Он есть истинный представитель полупросвещения. Невежественное презрение ко всему прошедшему, слабоумное изумление пред своим веком, слепое пристрастие к новизне, частные поверхностные сведения, набум приноровленные ко всему, — вот что мы видим в Радищеве». Такой приговор слишком жесток, и эпитеты — слабоумного, невежественного, слепого, — слишком положительны, чтобы можно было ожидать от Пушкина высокого мнения об уме Радищева. Несмотря на то, мы находим, что Пушкин, упрекая Радищева за его книгу, говорит, что он мог бы лучше прямо представить правительству свои соображения,

потому что оно всегда «чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих»; таким образом, поэт не отказывается поставить в число людей «просвещенных и мыслящих» этого человека, которому сам же приписал невежество, слабоумие, поверхностность и пр. Это непоследовательно. Или нужно было признать Радищева человеком даровитым и просвещенным, и тогда можно от него требовать того, чего требует Пушкин; или видеть в нем до конца слабоумного представителя полупросвещения, и тогда совершенно неуместно замечать, что лучше бы ему, вместо «брани, указать на благо, которое верховная власть может сделать, представить правительству и умным помещикам способы к постепенному улучшению состояния крестьян, потолковать о правилах, коими должен руководствоваться законодатель, дабы, с одной стороны, сословие писателей не было притеснено, и мысль, священный дар божий, не была рабой и жертвой бессмысленной и своенравной управы, а с другой — чтобы писатель не употреблял сего божественного орудия к достижению цели низкой или преступной».²¹ Зачем такие высокие требования от человека, в котором, тремя строками выше, не признается ничего, кроме невежества, слабоумия и пр.? Что толковать с таким человеком?.. Зачем укорять его, что он не сделал того, чего мы хотим, если мы сами признаем, что он не мог этого сделать?.. Но Пушкин не один только раз впадает в такую ошибку. В другом месте он старается оправдать Радищева в том, что он под старость «переменил образ мыслей и не питал уже в сердце своей никакой злобы к прошедшему». От какого же обвинения оправдывает он Радищева? Конечно, уж не от обвинения в том, что он оставил свою злобу; само по себе это обстоятельство должно было представляться Пушкину очень похвальным. Оправдание здесь возможно было для Пушкина только в отношении к самому факту *перемены* мнений. Но стоило ли оправдывать перемену мнений в человеке, который отличается только *слепым* пристрастием к новизне, *поверхностными* сведениями, *наобум* приноровленными ко всему? Такой человек, разумеется, должен менять свои мнения тотчас, как только проходит мода на них. Не забудьте, что он *слепо* увлекается всем новым, не мыслит сам, а только *наобум* приноровляет ко всему свои поверхностные сведения. Но Пушкин считает нужным оправдывать перемену Радищева, следовательно, тем самым признает в нем искренние и честные убеждения, оставление которых может бросать тень на самый характер человека. Еще яснее выражается, без ведома автора, уважение его к Радищеву в самом оправдании, решительно противоречащем строгому приговору, произнесенному относи-

тельно всей деятельности этого человека вообще. «Время изменяет человека, — говорит Пушкин. — Глупец один не изменяется, ибо время не приносит ему развития, а опыты для него не существуют (следовательно, Радищев не был глуп, не был невежественным представителем полупросвещения, а постоянно развивался и пользовался опытами времени). Мог ли чувствительный и пылкий Радищев не содрогнуться при виде того, что происходило во Франции во время ужаса? (Следовательно, он не слепо увлекался всем новым.) Мог ли он без омерзения глубокого слышать некогда любимые свои мысли, проповедуемые с высоты гильотины, при гнусных рукоплесканиях черни? (Где же тут слабоумное изумление перед своим веком?) Увлеченный однажды львиным ревом колоссального Мирабо, он уже не хотел сделаться поклонником Робеспьера, этого «сентиментального тигра». (Значит ли это, что он наобум применял ко всему свои поверхностные сведения?) Выразивши таким образом, против воли, высокие понятия о Радищеве, которого непременно хочет выставить с дурной стороны, поэт-критик рассказывает вслед за тем смерть Радищева и повод к ней, с явным желанием и тут осудить его. Дело происходило таким образом. Император Александр по вступлении на престол вспомнил о Радищеве и, заметивши в сочинителе «Путешествия» «отвращение от многих злоупотреблений и некоторые благонамеренные виды», определил его в Комиссию составления законов и приказал ему изложить свои мысли касательно некоторых гражданских постановлений. Радищев исполнил это со всею откровенностью и смелостью своих душевных убеждений. Начальник, которому принес он свой проект, заметил ему: «Эх, Александр Николаевич, охота тебе пустословить по-прежнему! Или мало тебе было Сибири?» Видя, что убеждения его принимаются таким образом, Радищев глубоко оскорбился и, пришедши домой, отравил себя. Рассказывая эту историю, Пушкин, как бы с намерением кольнуть Радищева, замечает, что «автор «Путешествия» вспомнил старину и в проекте, представленном начальству, предался своим прежним мечтаниям». Об этом обстоятельстве, вероятно, забыл Пушкин, когда высказал свое требование, чтобы Радищев, вместо брани, представил лучше свои соображения и пр. Несчастный автор, верно, знал себя и обстоятельства, в которых он находился, гораздо лучше, нежели его беспощадный критик.

В заключение своей статьи автор спрашивает: «Какую цель имел Радищев? Чего именно желал он?» И говорит за него: «На сии вопросы вряд ли мог он сам отвечать удовлетворительно», то есть, по мнению Пушкина, несчастный автор, пе-

чатая свое «Путешествие», сам не понимал, к чему он это делает, и не имел в виду никакой определенной цели. Мы не будем входить в рассмотрение того, справедливо ли это мнение само по себе, но заметим, что такое суждение противоречит другому месту в той же самой статье, где Пушкин говорит: «Не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным, *политического фанатика*, заблуждающегося, конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какою-то рыцарскою совестью». Если он был фанатиком, только заблуждающимся в своих стремлениях, то, значит, все-таки у него была же какая-нибудь цель, к которой он стремился. Фанатизм непременно должен привязываться к какому-нибудь предмету, и нам кажется, что невозможно представить себе фанатика, который бы не знал, чем он увлекается. Возможно ли же примирить суждения Пушкина, что Радищев был политическим фанатиком, и чтобы, несмотря на то, он не имел никакой цели в своем поступке?

Вообще нужно заметить, что статья о Радищеве любопытна, как факт, показывающий, до чего может дойти ум живой и светлый, когда он хочет непременно подвести себя под известные, заранее принятые определения. В частных суждениях, в фактах, представленных в отдельности, постоянно виден живой, умный взгляд Пушкина; но общая мысль, которую доказать он поставил себе задачей, ложна, неопределенна и постоянно вызывает его на сбивчивые и противоречащие фразы. К сожалению, статья о Радищеве представляет не единственный пример подобного несправедливого увлечения. Он составил себе круг идей, которые уже были для него неприкосновенны в своей святыне, хотя бы даже несправедливость их и была очевидна. Он уже восклицает:

*Да будет проклят правды глас,
Когда посредственности хладной,
Завистливой, к соблазну жадной,
Он угождает праздно.*²²

Проклиная правду, когда она благоприятна была для посредственности, и наивно признаваясь в этом, поэт, разумеется, старался поддерживать в себе всякий обман, казавшийся ему благородным и возвышенным. «Нас возвышающий обман» был для него действительно дороже тьмы *низких* истин.²³ В разделении истин на низкие и высокие опять отражалось, разумеется, влияние старой риторической школы, допускавшей еще и *средние* истины, так же точно как допускала она высокий, средний и низкий слог. И Пушкин, при всем своем презрении к риторической школе, не мог от нее освободиться в этом

случае, и в последнее время жизни, вместе с полным обращением его к чистой художественности, усилилось в нем и пристрастие к некоторым исключительным истинам, соединенное с отвращением от других. Он уже заглушал в себе некоторые из прежних сердечных звуков, называя их действием безумства, лени и страстей; он уже позволил себе в одном стихотворении назвать наглецом Наполеона, о котором сам писал за десять лет: «Да будет омрачен позором тот малодушный, кто безумным омрачит укором его развенчанную тень»...²⁴ Прежние задушевные мечты высказывались теперь уже тоном шутливым и даже насмешливым, а то, что в молодости вызывало насмешки, теперь возбуждало в поэте благоговейное умиление. Прежде писал он к одному из друзей гордое послание (не напечатанное почему-то у г. Анненкова),²⁵ в котором поверял своему другу свои надежды и мечты о славе пророка, обличителя земли своей, а через несколько лет он писал:

Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень, и тишина,
И в умиленьи вдохновенном
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.²⁶

Не мудрено, что при таком расположении ему очень не нравилось все, что мешало лени и тишине, и что по этому случаю Радищев заслужил особенное его нерасположение.

Впрочем, здравый природный ум предохранял Пушкина от излишних крайностей в принятом им направлении, и, при всем недостатке серьезного образования, он умел понимать ошибки людей, заходивших слишком далеко в применении тех начал, верности которых он сам, по-видимому, вполне доверял. В этом обстоятельстве мы находим ясное подтверждение того, что направление, принятое Пушкиным в последние годы, вовсе не исходило из естественных потребностей души его, а было только следствием слабости характера, не имевшего внутренней опоры в серьезных, независимо развившихся убеждениях и потому скоро павшего от утомления в борьбе с внешними враждебными влияниями. Оттого-то в последние годы его жизни мы видим в нем какое-то странное бормотание, какую-то двойственность, которую можно объяснить только тем, что, несмотря на желание успокоить в себе все сомнения, проникнуться как можно полнее заданным направлением, — все-таки он не мог освободиться от живых порывов молодости, от гордых, независимых стремлений прежних лет. До сих пор в печати известны были почти только те произведения последних лет жизни Пушкина, в которых выражалось, более или менее

ярко, направление, господствовавшее в нем в эти последние годы. Ныне изданный дополнительный том сообщает много произведений совершенно противоположного характера, и они-то доказывают, что Пушкин и пред концом своей жизни далеко еще не всей душою предан был тому направлению, которое принял, по-видимому, так пламенно, которое зато произвело охлаждение к нему в лучшей части его почитателей. Известно, например, что в последнее время в нем особенно сильно развились генеалогические предрассудки; но ныне напечатанное стихотворение «Когда за городом задумчив я брожу» обнаруживает воззрение совершенно чистое, равно как и некоторые стихи пьесы, озаглавленной «Из VI Пиндемонте» и написанной, так же как и «Кладбище», в 1836 году. В ней есть, между прочим, такие стихи:

Не дорого ценю я громкие права,
От коих не одна кружится голова.
Я не ропщу о том, что отказали боги
Мне в сладкой участи оспаривать налоги,
Или мешать... друг с другом воевать...
...Иные, лучшие мне дороги права...

...Никому
Отчета не давать, себе лишь самому
Служить и угождать...
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...
Вот счастье! вот права!..

Известно также, что в стихотворениях Пушкина, и чем позднее, тем ярче, постоянно высказывалось²⁷ чрезмерное уважение к штыку и презрение к оружию слова. Судя по знаменитому стиху «Кому венец? мечу иль крику?»²⁸ предполагали не без основания, что Пушкин решительно не признавал силы убеждения; между тем напечатанные ныне статьи его о Радищеве, о мнении г. Лобанова, «Отрывок из литературных летописей», о нападках на дворянство — доказывают, что он придавал очень большое значение не только вообще литературе, но даже и тем памфлетическим возгласам, которые именно можно назвать криком. Следовательно, до конца жизни он не был решительным, слепым поклонником грубой силы, не оживленной разумностью.

В последнее время Пушкин окончательно также склонился, по-видимому, к той мысли, что для исправления людей нужны «бичи, темницы, топоры», а не сила слова, не сатира, не литературное обличение. Он отталкивал от себя общественные вопросы жестоким восклицанием:

Подите прочь! какое дело
Поэту мирному до вас?..²⁹

Но ныне, в VII томе, напечатано его стихотворение, в котором он сам хочет приняться за сатиру и клеймить пороки. Стихотворение это написано в 1830 году, следовательно, в то же время, как и пресловутая «Чернь». Начинается это стихотворение так:

О муза пламенной сатиры!
Приди на мой призывный клич.

А оканчивается:

О, сколько лиц бесстыдно-бледных,
О, сколько лбов широко-медных
Готовы от меня принять
Неизгладимую печать!..³⁰

Поэт, как мы знаем, не исполнил своего предположения; но уже самое намерение его служит лучшим опровержением мыслей, высказанных в «Черни» и увлекших многих силою своего выражения.

В отношении к суждениям о некоторых литературных явлениях Пушкин тоже является не всегда верен самому себе. Боязливая попечительность о соблюдении нравственности, похожая на заботу жены Платона Михайлыча о здоровье своего мужа в «Горе от ума», — все больше и больше овладевала Пушкиным в последние годы жизни. Он приходил в ужас от издания «Записок палача Самсона»³¹ и говорил, что следовало бы запретить их. Но он же в последний год своей жизни очень энергически встал против г. Лобанова,³² когда сей академик произнес в Академии речь «о нелепости и безнравии» современной литературы и говорил, что, «по множеству сочиненных ныне безнравственных книг, цензура должна проникать все ухищрения пишущих» и что Академия должна ей помогать в этом, «яко сословие, учрежденное для наблюдения нравственности, целомудрия и чистоты языка», то есть для того, чтобы «неослабно обнаруживать, поражать и разрушать зло» на поприще словесности. Пушкин возражал на это следующей репликой, которая также напечатана в изданном ныне томе и которую мы считаем нелишним выписать для того, чтобы показать, что и в самых уклонениях своих от здравых идей, в самом подчинении рутине Пушкин не доходил никогда до обскурантизма и даже поражал, когда мог, обскурантизм других. Вот его мысли, опровергающие г. Лобанова:

Но где же у нас это множество безнравственных книг? Кто сии дерзкие, злонамеренные писатели, ухищряющиеся ниспровергать законы, на коих основано благоденствие общества? И можно ли упрекать у нас цензуру в неосмотрительности и послаблении? Вопреки мнению г. Лобанова, цензура не должна *проникать все ухищрения пишущих*. Цензура *долженствует обращать особенное внимание в дух рассматриваемой книги, на видимую цель и намерение автора, и в суждениях своих принимать всегда за основание явный смысл речи, не доверяя себе произвольного толкования*

оной в дурную сторону (Устав о цензуре, § 6). Такова была высочайшая воля, даровавшая нам литературную собственность и свободу мысли! Если с первого взгляда сие основное правило нашей цензуры и может показаться льготою чрезвычайною, то по внимательнейшем рассмотрении увидим, что без того не было бы возможности напечатать ни одной строчки, ибо всякое слово может быть перетолковано в худую сторону (т. VII, стр. 109 второй нумерации).

Мы коснулись всего наиболее замечательного в дополнительном томе сочинений Пушкина. О литературных отрывках, помещенных в конце тома, сказать нечего: они интересны только в том отношении, в каком «всякая строка всякого великого писателя интересна для потомства». Читая их, мы можем припомнить знакомые черты, знакомые приемы любимого поэта; но подобные отрывки не подлежат критическому разбору.

В заключение мы должны сказать несколько слов о самом издании. Оно аккуратно по-прежнему; опечаток значительных немного; в правописании сохраняются своенравные ошибки Пушкина (так, например, писатель, отчество — печатаются с большой буквы, а Гораций — с маленькой); при каждой статье находятся примечания, большею частью библиографические; в конце тома приложены: алфавитный указатель всех сочинений Пушкина, помещенных в семи томах издания г. Анненкова, и подробный указатель к материалам для биографии Пушкина, помещенным в первом томе того же издания. Этот последний указатель значительно облегчает пользование материалами, которое до сих пор было несколько затруднительно, по недостатку разделения их на главы. Теперь, с изданием VII тома Пушкина, дело г. Анненкова кончено, и всякий любитель литературы, кроме разве людей, сочувствующих издателям «Северной пчелы», почтит, конечно, искренней благодарностью его труды по изданию нашего великого поэта, как истинную заслугу пред русской литературой и обществом.

РУКОВОДСТВО К ИЗУЧЕНИЮ СЛОВЕСНОСТИ И К ПРАКТИЧЕСКОМУ УПРАЖНЕНИЮ В СОЧИНЕНИЯХ

Составил Санкт-Петербургской духовной семинарии профессор магистр
Михаил Архангельский. СПб., 1857

Г-н Архангельский весьма справедливо говорит на стр. 9 своего руководства: «Не должно читать всяких сочинений без разбора. Есть сочинения худые, т. е. скудные и неправиль-

4. В сборнике, названном в заглавии рецензии (полное заглавие: «Стихотворения Л. Мея. СПб., 1857; издание придворного книгопродавца А. Смирдина (сына) и К°, 250 стр.»), этого перевода нет. Но, как указал С. А. Рейсер (ГИХЛ, 1, стр. 637), многие экземпляры сборника были переплетены вместе с другой книжкой, вышедшей годом раньше: «Слово о полку Игореве, сына Святослава, внука Ольгова (славянским шрифтом), перевод Л. Мея, СПб., 1856, 47 стр.». Такой экземпляр, очевидно, был и в руках Добролюбова.

СОЧИНЕНИЯ ПУШКИНА

Седьмой, дополнительный том. Издание П. В. Анненкова

(стр. 164—177)

Впервые — «Совр.», 1858, № 1, отд. II, стр. 29—43, без подписи. Вошло в изд. 1862 г., т. I, стр. 462—476.

Первым томам второго посмертного издания Сочинений Пушкина, подготовленного П. В. Анненковым, «Современник» посвятил четыре статьи Чернышевского (1855, №№ 2, 3, 7, 8).

Седьмой, дополнительный том Сочинений Пушкина включал в себя много произведений, либо впервые появившихся в печати, либо впервые перепечатанных из периодики пушкинской поры. Только на этих материалах и останавливается Добролюбов в данной рецензии. Многократно давая понять, что и теперь цензура существенно искалечила произведения поэта, Добролюбов специально цитирует все, что противоречит канонизированному представлению о нем как о человеке, полностью освободившемся от вольнолюбивых заблуждений юности и вставшем на консервативные, чуть ли не охранительные позиции. Добролюбов утверждает, что Пушкин «до конца жизни... не был решительным и слепым поклонником грубой силы», «не дошел никогда до обскурантизма».

Добролюбов здесь разошелся с Чернышевским, утверждавшим, как и Белинский, что вольнолюбивые мотивы были для Пушкина неорганичны и, «когда он достиг зрелости», исчезли сами собою, потому что они были «только увлечениями молодости, а не глубокими потребностями самой природы» (Чернышевский, II, стр. 510). Добролюбов писал, что «направление, принятое Пушкиным в последние годы его жизни, вовсе не исходило от естественных потребностей души его, а было только следствием слабости характера», недостаточной образованности и отсутствия твердых убеждений.

1. Издание сочинений Пушкина было предпринято П. В. Анненковым в 1855 году. В нем были ошибки, но не было сознательных искажений. Анненков сверил тексты с рукописями, включил многое до того неизвестное или известное только в рукописных списках, снабдил издание комментариями и обширными «Материалами к биографии Пушкина». Чернышевский писал, что это «лучшее издание, какое могло быть сделано в настоящее время; недостатки его неизбежны, достоинства его — огромны» (II, стр. 426). Однако, по условиям цензуры, многие произведения Пушкина тогда еще не могли быть изданы, в частности — все, что связано с декабристами, Радищевым и т. д. Седьмой, дополнительный том, вышедший в 1857 году, в известной мере восполнял этот недостаток.

2. См. прим. 10 к рецензии «Сборник, издаваемый студентами С.-Петербургского университета» на стр. 518 наст. тома.

3. Сатира Батюшкова против «пишквистов», написанная в форме пародии на поэму Жуковского «Певец во стане русских воинов» и озглавленная «Певец в Беседе славяно-россов», была впервые опубликована в «Современнике», 1856, № 5.

4. «Библиографические записки» М. Лонгинова печатались в «Современнике» на протяжении 1856 (№№ 5, 6, 7, 8, 11) и 1857 (№№ 3, 4, 5, 7, 11) годов.

5. Намек на то, что после смерти Николая I цензурный гнет несколько ослабел.

6. Речь идет о полемике между С. Шевыревым и В. Гаевским по поводу двустышия:

Мир велик: мне путь-дорога на четыре стороны.
И куда костей проклятых не заносят вороны, —

вторую строку которого, по-видимому собственного сочинения, Шевырев приписал Пушкину (см. «Москвитянин», 1854, № 5, раздел «Исторические материалы», стр. 2). Гаевский опровергал Шевырева (см. «Замечание по поводу двух стихов в «Борисе Годунове» — «Отечественные записки», 1854, № 5, отд. IV, стр. 68—69). Шевырев ответил ему «Замечанием на замечание по поводу двух стихов в «Борисе Годунове» («Москвитянин», 1854, № 13, отд. IV, стр. 45—46).

7. Имеется в виду полемическая заметка Н. Тихонравова («Отечественные записки», 1853, № 7) по поводу «Библиографических заметок о сочинениях Пушкина и Дельвига» В. Гаевского («Отечественные записки», 1853, № 6).

8. См. прим. 4.

9. Добролюбов этой фразой дает понять читателю, что и дополнительный том Сочинений Пушкина не свободен от цензурных изъятий.

10. В этом месте цензура вычеркнула из издания Анненкова два стиха:

Хоть в узкой голове придворного глупца
Кутейкин и Христос два равные лица.

11. В издании Анненкова были изъяты следующие строки:

Стариной глупости мы праведно стыдимся,
Ужели к тем годам мы снова обратимся,
Когда никто не смел отечество назвать,
И в рабстве ползали и люди, и печать?
Нет, нет! оно прошло, губительное время,
Когда невежества несла Россия бремя,
Где славный Карамзин снискал себе венец,
Там цензором уже не может быть глупец...
Исправься ж, будь умней и примирился с нами.

12. «Посланиями к Аристарху» в издании Анненкова названы «Послания цензору». Анненков ошибочно отнес оба стихотворения к 1824 году. Добролюбов датирует их 1827 годом. На самом деле «Послание цензору» относится к 1822 году, «Второе послание цензору» — к 1824.

13. Снова намек на цензурное изъятие.

14. *Видок* — прозвище, данное Пушкиным Булгарину по имени знаменитого французского сыщика. Фиглярным прозвал его П. Вяземский. В своей эпиграмме Пушкин соединил оба прозвища в одно.

15. Намек на доносы Булгарина и Греча III отделению.

16. В конце памфлета «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем» Пушкин сообщает название глав «Настоящего Выжигина». Глава VIII названа: «Свадьба Выжигина. Бедный племянничек. Ай да дядюшка»; глава XIV — «Семейственные неприятности. Выжигин ищет

утешения в беседе муз и пишет пасквилы и доносы». Памфлеты Пушкина на Греча и Булгарина — «Горжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» и «Несколько слов о мизинце г. Булгарина и о прочем», опубликованные в 1831 году под псевдонимом Феофилакта Косичкина («Телескоп», №№ 13, 15), Добролюбов охотно использовал и позже (см. наст. том, стр. 416).

17. Здесь Добролюбов приводит слова Каченовского в «Вестнике Европы» (1828, № 24, стр. 304), процитированные Пушкиным в его «Отрывке из литературных летописей», напечатанном в альманахе «Северные цветы на 1830 год» и впервые перепечатанном в седьмом томе издания Анненкова. «Нелитературные меры», принятые Каченовским против Полевого, заключались в том, что он написал в цензурный комитет донос на цензора, пропустившего статью Полевого, в которой якобы задега его личность и особенно его чин и звание статского советника, профессора и кавалера почетных орденов.

18. Неточная цитата из эпиграммы Пушкина на Каченовского.

19. Статья Пушкина «Александр Радищев», написанная в 1836 году для журнала «Современник», не была пропущена цензурой. Министр просвещения Уваров по поводу статьи Пушкина заметил, что не следует «возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых». В седьмом томе издания Анненкова она была опубликована впервые.

20. По поводу явных противоречий, замеченных Добролюбовым в статье Пушкина о Радищеве, Герцен в предисловии к заграничному изданию «Путешествия из Петербурга в Москву» (1858) писал: «В VII томе сочинений А. Пушкина помещена его статья о А. Радищеве. Статья, не делающая особенной чести поэту. Он или перехитрил ее из цензурных видов, или в самом деле так думал — и тогда лучше было бы ее не печатать» (Герцен, XIII, стр. 278).

21. Эта цитата была изъята цензурой из журнального текста и для связи заменена Добролюбовым следующими словами (см. строку 9 св.): «Совершенно неуместны те требования, какие высказывает Пушкин. Он хочет от Радищева очень много, он требует таких вещей, каких можно ожидать только от человека умного и просвещенного». В рассуждении Добролюбова о статье Пушкина имеется еще ряд цензурных исключений и замен. Так, рассуждение Пушкина о «политическом фанатизме» (стр. 173, строки 7—11 св.) от слов — «заблуждающегося, конечно» и последующая фраза Добролюбова (до слов — «к которой он стремился») казались цензуре слишком панегирическими по отношению к Радищеву. В журнальном тексте это место было исключено.

22. Неточная цитата из стихотворения «Герой» (1830).

23. Перефразированы строки стихотворения «Герой».

24. Неточная цитата из стихотворения «Наполеон» (1824).

25. Добролюбов имеет в виду послание «К Чаадаеву» (1818), впервые полностью опубликованное Герценом в 1856 году в «Полярной звезде».

26. Цитата из стихотворения Пушкина «Чаадаеву» (1824).

27. Часть этого абзаца (от слов — «постоянно высказывалось» до слов — «о нападках на дворянство») была вырезана цензурой и заменена в «Современнике» более пространным и существенно смягченным выражением близкой мысли: «высказывалось направление громкозвучной поэзии, которое так сильно было в наших поэтах прошедшего столетия. Он восхищался победами, славою оружия, но мало высказывал уважения к оружию слова. Были такие из тогдашних критиков Пушкина, которые, опираясь на его знаменитый стих: «Кому венец — мечу иль крику?» — утверждали даже, что Пушкин вовсе не признавал силу литературного убеждения. Но напечатанные ныне статьи его — «О мнении г. Лобанова»,

«Отрывок из литературных летописей» и пр...». В совокупности с менее пространными цензурными изъятиями и заменами в следующих абзацах это переводило разговор из плана политического в план эстетический; одновременно смягчался упрек Пушкину в консервативности его позиции. В издании 1862 года Чернышевский восстановил доцензурный текст.

28. Строка из стихотворения Пушкина «Бородинская годовщина» (1831).

29. Цитата из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа» («Чернь»), написанного в 1828, а не в 1830 году, как указывает далее Добролюбов.

30. Цитаты из стихотворения Пушкина «О муза пламенной сатиры» (написано между 1817—1825 годами. Добролюбов отнес к 1830 году).

31. Имеется в виду статья Пушкина «О записках Самсона» (1830).

32. Имеется в виду статья Пушкина «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной» (1836). Статья полемически направлена против речи Лобанова, произнесенной в Российской академии 18 января 1836 года, в которой порицались иностранная (в особенности французская), а также русская литература; академикам предлагалось писать доносы по поводу всякой «неблагонадежности», встреченной ими в печати, поскольку цензура, по мнению Лобанова, со своей задачей не справляется.

«РУКОВОДСТВО К ИЗУЧЕНИЮ СЛОВЕСНОСТИ»

М. Архангельского

(стр. 177—185)

Впервые — «Совр.», 1858, № 1, отд. II, стр. 43—51, без подписи. К произведению Добролюбова впервые отнесено Лемке (I, стр. 579—588). Авторство Добролюбова обосновал С. А. Рейсер (ЛН, № 53—54, стр. 245, 279); подтверждает также найденный В. Э. Боградом список статей Добролюбова, составленный Чернышевским (Указатель, 547). В изд. ГИХЛ помещена в Dubia.

К «Руководству» Архангельского Добролюбов вернулся два месяца спустя в рецензии для «Журнала для воспитания» (см. наст. том, стр. 374—377).

1. Н. Кошанскому принадлежат: «Общая риторика» (1818) и «Частная риторика» (1832). «Чтения о словесности» И. Давыдова состоят из четырех курсов. Курс первый и второй были опубликованы в 1837 году, третий и четвертый — в 1838.

2. *Мижугев* — персонаж «Мертвых душ» Гоголя.

3. Речь идет о книгах: «Римская история» в трех томах (Берлин, 1811, 1812, 1832) В. Нибура и «Исследования, замечания и лекции о русской истории» (1846) М. Погодина.

4. Имеются в виду «История государства Российского» Н. Карамзина, «История русского народа» Н. Полевого, «Русская история» Н. Устрялова и «История России с древнейших времен» С. Соловьева (с 1851 по 1857 год вышло семь томов).

5. Речь идет о Степане Сидоровиче Лебедеве (ум. 1882), профессоре словесности Главного педагогического института, лекции которого слушал Добролюбов.

6. *Костров* Ермил Иванович (1752—1796) — поэт и переводчик.